МАРТ 1927 Г. № 10 Рис. Ю. Ганфа. ЦЕНА 15 КОП.

СМЕХАЧ

Таким представляет себе городового октябренок.

В мечтах эмигранта городовой приобретает совершенно иной вид.

В действительности вот каким был городовой.

И вот в каком виде он иногда попадается сейчас...

КАК БЫЛО ДЕЛО

„Когда-нибудь монах трудолюбивый раскроет труд усердный, безыменный и, пыль веков от хартий отряхнув...“

Бедный Пимен! Нет больше монахов. Не будет. Выводятся последние. Поступают в оперетку. Открывают публичные дома. Читают лекции об омоложении. Служат инструкторами по конькобежному спорту. Расстреливают рабочих в Литве. Пишут статьи в „Безбожник“. Не хотят слышать о хартиях.

Кто же раскроет мой труд, усердный, безыменный? Кто будет тут-же отряхать пыль веков с пожелтевшего номера „Смехача“? Кто оценит скромные, но честные и правдивые воспоминания?

Не монах—может быть, агитатор-антирелигиозник? Нет. В таких уже не будет нужды.

Комсомолец? И этих не будет.

Железнодорожник? Какое! Разве что смазчик скорого пассажирского самолета Москва—Сан-Франциско. Да и тот не станет рыться в истлевших листах старых сатирических журналов. Все помыслы его будут витать вокруг прямого сообщения Париж—Марс, у межпланетного вокзала имени товарища Аэлиты.

Ну, ладно! Послушай, ты, как тебя там, член настоящего коммунистического общества! Ты будешь благоденствовать тогда, когда давно развеется мой пепел, и я вперед радуюсь за тебя от всего сердца. Узнай же от очевидца, как началась великая завирушка.

... И было утро, и день первый.

Преображенский полк прибыл в Таврический дворец. Промаршировал в Екатерининский зал. Остановился. Выстроился ниткой. Стал требовать к себе Родзянку.

Председатель государственной думы вышел высоким торжественным старым петухом. Он поднял голову повыше и гаркнул в полный голос:

— Здррова, маладцы преображенцы!!

Полк испугался. С разбегу ответил грохочущим нестройным верноподданным рыком, лязгом штыков, тушем оркестра:

— Здрра жлла ва ррра гррра стввооо-оо!!

Я спросил у солдата рядом:

— Что это вы такое кричите?

Он пожал плечами.

— А чорт его знает. Мне и невдомек, как его величать. Превосходительством, что-ли?

Рядом стоящий, в серой шинели, в серой шапке, с серым лицом, с серыми шальными глазами, задумчиво предложил:

— Его величать бы надо по-русски. Как умеем...

Солдаты согласились с этим, созвучным моменту, разрешением трудного вопроса. Передали по рядам.

Родзянко кончил речь о вере, отечестве и войне до победного конца. Опять обвел тусклым взором шеренги. Опять гаркнул на весь екатерининский зал:

— Спасибо, маладцы преображенцы!

На этот раз ответ был быстрый и стройный. Слов не было четко слышно, но они угадывались.

— Оооо вввааaa ммаааа!!

Председатель думы ушел довольный. Он сказал ад'ютантам:

— Армия с нами. Она не пойдет с Советом. Она будет воевать.

Впоследствии перед смертью, в эмиграции, Родзянко раз'езжал из города в город в качестве регента церковного хора. Это меня удивляет. Ведь у Родзянки был плохой слух! Ведь он не слышал тогда, в первый день, что именно кричал ему преображенский полк.

И было утро, и день второй.

В Таврический дворец явился Кирилл Романов.

Он был одет в морскую форму и в большой красный бант. Больше ни во что не был одет Кирилл Романов.

Он прошел по всем комнатам, и во всех комнатах всех поздравлял с радостным днем свержения самодержавия. И во всех комнатах министры, журналисты, депутаты и кандидаты в министры и в депутаты приветливо улыбались в ответ поздравляющему великому князю.

Владимир Бурцев, двадцать лет писавший и печатавший разоблачения о русском царизме, выскочил откуда-то сияющий, захлебываясь, сообщил толпе:

— Небывалая победа! Даже великие князья с нами!

Прав оказался Бурцев. Хотя и с оговорками. Через три года, вне России, на парижских тротуарах, он оказался вместе с великими князьями. Там он пытается до сих пор восстанавливать царизм в союзе с Кириллом.

Прав был Бурцев—хотя и с оговорками. Князья оказались с ними...

И было утро, и день третий.

Милюков говорил речь. Его слушали внимательно.

Спрашивали:

— Как представляете себе будущий строй?

Милюков отвечал:

— Мы представляем себе новую форму государственного строя в России, как парламентарную и конституционную монархию. Власть от Николая Романова перейдет к регенту Михаилу, а наследником будет Алексей Романов.

Как оказалось, Милюков плохо представлял себе новую форму государственного строя в России. Он не догадывался не только о ЦИК'е, но не представлял себе даже обыкновенного жилтоварищества.

Вообще, многое представлял себе очень плохо Милюков.

Он представлял себе обязательную непременную победу союзников и был от'явленным немцеедом.

Когда же дела Антанты пошатнулись, он сразу стал вполне отчетливо представлять себе победу немцев и поехал в Берлин на поклон к кайзеру Вильгельму.

Победили все-таки Франция с Англией. И Милюков немедленно представил себе это очень ярко, поехав кланяться в Париж.

Такое бывает с людьми.

И было утро, и день четвертый.

Керенский состоял в Совете. Ему хотелось во временное правительство.

Совет не пускал.

Керенский решил:

— Ежели рассудить—выходит, что правительство, хотя оно и временное, но не только временное, а и правительство. Совет же, хотя и не временный, но только Совет. Войду-ка я в правительство и плюну на Совет!

Так и поступил. Ошибся только наполовину.

Правительство, в самом деле, оказалось временное, и даже очень. Но и Совет тоже оказался временный. Вскоре, как мы знаем, вместо него появился Совет настоящий, не временный. Да и правительство мы имеем теперь постоянное. Даже очень.

И было утро, и день пятый.

Пришло время царю отрекаться.

Никто не решался поехать к нему по этому маленькому дельцу.

Взял это поручение Шульгин.

— Царю будет приятно,—решил Шульгин—если он выпьет сию чашу из рук монархиста, из рук дворянина. Не из рук же мужика или, боже упаси, рабочего будет царь принимать для подписи указ об отречении!

Так поступил Шульгин, и был совершенно прав со всех точек зрения.

Дворянство поднесло царю Николаю Кровавому на прощанье от себя легкую чашу.

А рабочие и крестьяне, отдельно, позже попрощались с царем. Показали ему чашу потяжелее.

И было утро, и день шестой

Народ беседовал по кучкам. Тогда всюду на улицах собирались кучками и разговаривали.

Обсуждали, что будет дальше с царствующим домом.

— Этак, Николай в Ливадию уедет и там будет на бобах сидеть без всякой власти!

— Ему, чего доброго, скажут и билет купить на поезд, как всякому человеку!

ПО ПОВОДУ ОСКОЛКОВ РАЗБИТОГО ВДРЕБЕЗГИ

Рис. М. Черемных.

Протопопов, к счастью, уже давно сгинул, но... протопопов, к сожалению, у нас еще сколько угодно...

— Хе-хе-хе!.. Пассажир!

— С него и за квартиру теперь драть будут!

— В булочную жену посылать будет!

— Хо-хо-хо! В трамвай садиться с передней площадки— ни-ни! Штраф!

— В театр ходить—без контромарок! Ха-ха-ха!

Кучка веселилась. Были это все студенты, ремесленники, случайные барышни. Один рабочий—он тоже улыбался и подхихикивал. Сковырнул ногтем какой-то прыщик со лба и вставил свое замечание:

— А я так располагаю, что он в театр и в булочную не пойдет.

— Почему же?! Никаких привилегий, обыкновенный гражданин.

— А я так располагаю, что его повесят.

Кучка замолчала. Задумалась. Исчерпав тему, стала таять.

Ошиблись в кучке все. Но рабочий все-таки был ближе к истине. Царя, конечно, не повесили. Что вы, что вы! Разве же можно царя вешать! Где это слыхано! Не повесили царя, а расстреляли.

И было утро, и день седьмой.

Родзянко, Милюков, Кирилл, Бурцев, Шульгин почли революцию сотворенной. Прилегли на отдых. Так и не встали до сих пор.

Это правильно. Поработали—дайте другим.

Пусть один класс приляжет. А другой подымется на ноги.

Один прилег, а другой поднялся и шагает. После февраля наступил октябрь. Именно так было дело. Я твердо помню. Удостоверят и другие.

Михаил Кольцов

ЕВРОПА

I. Невозможное

ПОЛНЫЕ красные руки с огромными бриллиантами — 18 каратов— горячо жестикулируют в то время, когда госпожа супруга банкира Пиоверца рассказывает:

— Вчера еду я 19 номером трамвая по Лейпцигской площади — и кто вы думаете— встречается мне? Наш художник, Рембранд, тот самый, который рисовал все картины нашего салона.

Госпожа Бловиц иронически улыбается.

— Но это невозможно.

— Почему невозможно?

— 19 номер трамвая вовсе не идет по Лейпцигской площади.

II. Мечты

ТРИ бедные маленькие хористки роскошного варьете в Берлине сидят в своей театральной уборной и мечтают о счастье и богатстве.

— Если бы я была богатой—начинает одна, — я купила бы себе автомобиль, виллу, много прекрасных платьев, — и целыми днями все эти великолепные бароны и графы ползали бы у моих ног.

Другая сказала:

— Если бы я была богатой, я вечно путешествовала бы по всему свету в своей собственной роскошной яхте, я поплыла бы в Индию. Прекрасный и могущественный магараджа был бы моим рабом.

Третья, потупив глаза, сказала тихо:

— Если бы я была богатой, я хотя бы одну ночь провела бы одна.

III. Надежда

В ШЕСТОЙ раз в течение недели приходит Лебушер в кино смотреть фильму „Горящие сердца".

Кассирша кино уже знает его и спрашивает:

— Неужели вам так нравится наша картина? Вы ее ежедневно смотрите?

Лебушер отвечает:

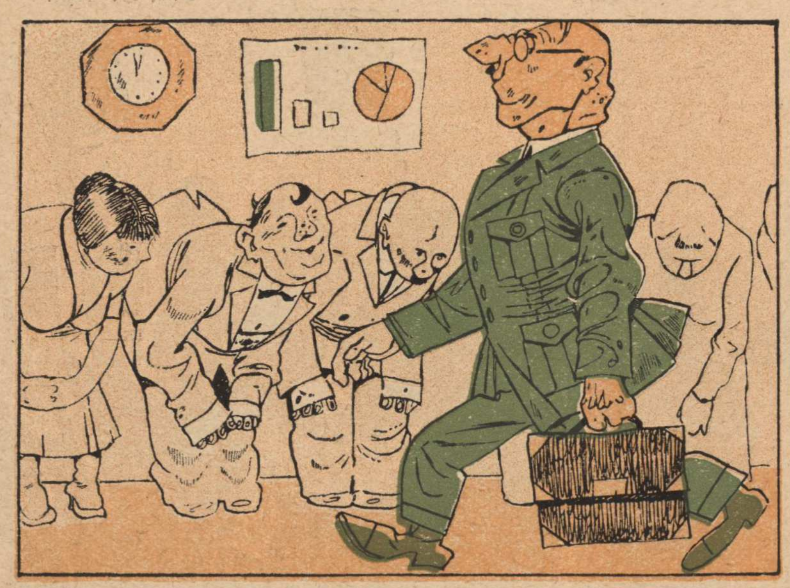
— Фильма, конечно, интересна. Меня интересует особенно та сцена, где эта героиня купается в озере. Но как-раз в ту минуту, когда она должна сбросить с себя последние одежды, — там проходит идиотский товарный поезд—и ничего не видно. Но я все-таки прихожу ежедневно,— как-раз к этой сцене. Ведь, когда-нибудь поезд может и опоздать?

Знакомый

КАК ОН ВОЕНИЗИРОВАЛСЯ

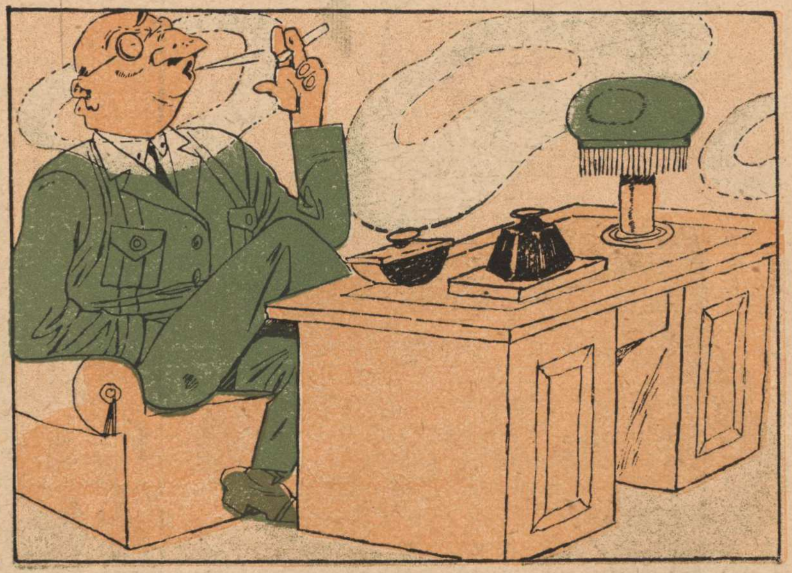
Рис. Ю. Ганфа

СТРОЕВЫЕ ЗАНЯТИЯ



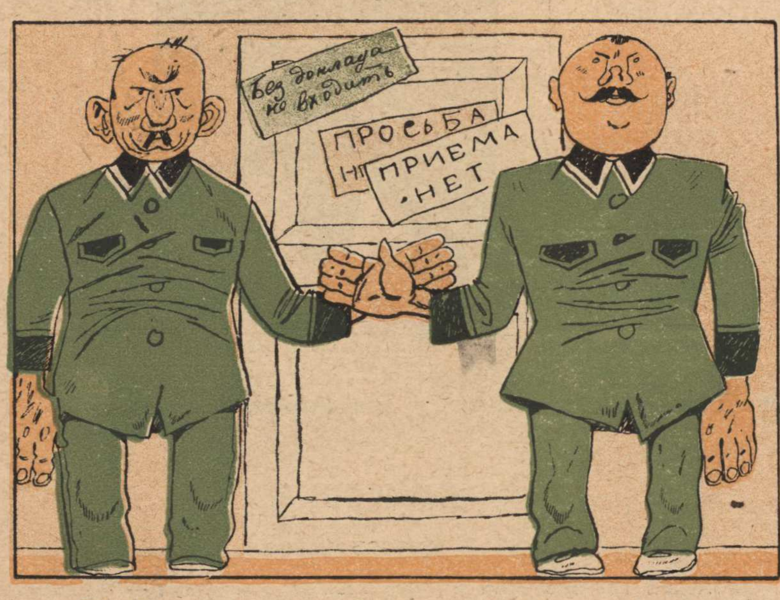
Когда он входил в свое учреждение, строй сотрудников встречал его.

ХИМИЯ



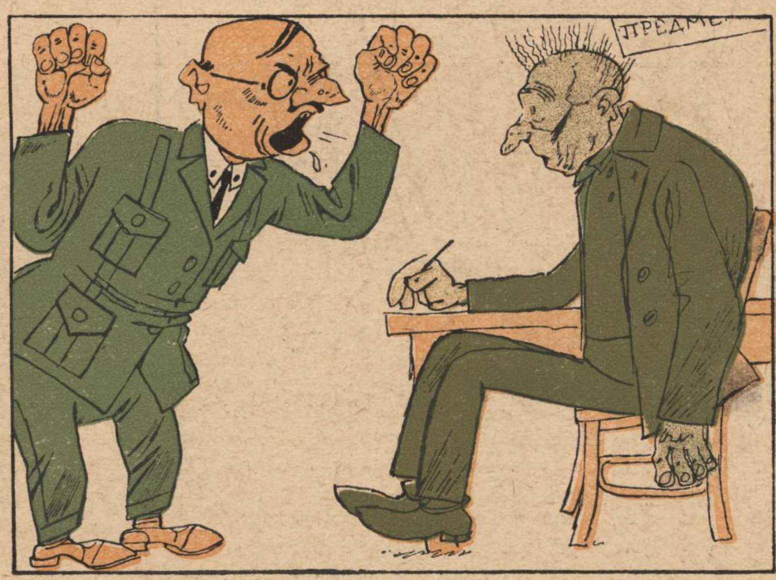
С утра он окружал себя дымовой завесой. Она скрашивала его досуги.

ФОРТИФИКАЦИЯ



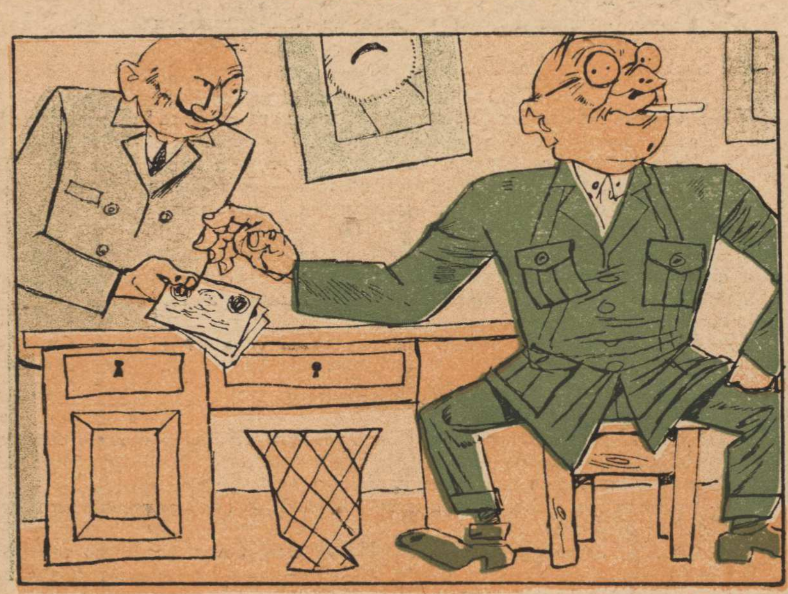
Чтобы враг не прошел в его позиции, он могущественно укрепил их.

ТАКТИКА



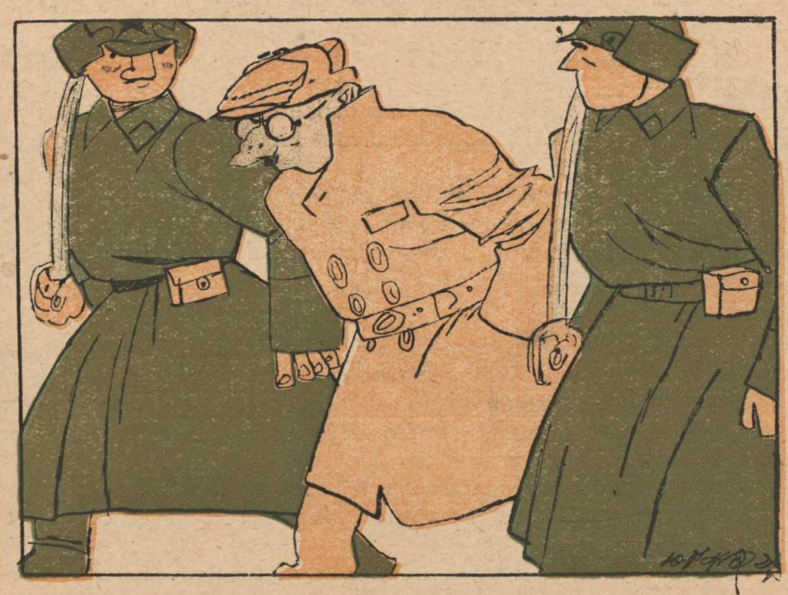
Со свойственным ему тактом он беседовал с представителем месткома.

ВОЕННАЯ ТАЙНА



Он прекрасно учитывал то, что некоторые операции должны быть покрыты глубокой тайной.

СТРАТЕГИЯ



Но в решительном деле под Губсудом он потерпел поражение и отступил на заранее подготовленные (не им) позиции.

ЛОШАДИНЫЕ ЗУБЫ

ВЕНИКОВ давно не был так зол, как в это первоиюньское пыльное и золотое утро. Проходил он из Заречья в школу. Только шагнул из переулка на набережную, а по синей речной пашне плыл пароход. Белый, ширококрылый, он красными лапами ворочал воду, вздымал ее, как гриву, на плечи и бороздил за кормой длинный и густой хвост. Река раздавалась и накатывалась на зеленые берега, будто расходились два крыла и скользили брызгами по земле. На палубе толокся полуголый, веселый народ. Ходили, сидели, перегибались через решетки, развалились на плетенках. Бегали вокруг под тентом дети. Лакеи в белых передниках разносили подносы с чайной посудой, с винами, с закрытыми судками и мисками.

Веникова обносило, как на мельнице, серой пыльцой с городских улиц; виноградились стриженые бульвары худенькой кужлявостью; трещали назойливо трамваи, выгибаясь с горы на гору, скучные, однообразные, полинялые; стояли, будто в очередях за хлебом, глазастые и подслеповатые дома—и поднимал свою короткую палку дежурный снигирь над автобусами, авто, над извозчиками и ломовиками.

Скука задернула глаза Веникова мутью и зевками. И все вертелся где-то внутри белой тычинкой уплывший пароход.

Веников сидел за столом и разглядывал знакомые, привычные, запомненные каждой складочкой, щадринкой, летучей прядью, торчком бобриков и развалкой по проборам, ребячьи лица. Он шелестел старыми, измятыми страницами учебника, откидывая их резко, сердито, морщась...

— Сколько раз, сколько раз я об'яснял вам строение организма лошади,—шипел Веников.—Надо же, надо же, наконец, знать. Вас окружают домашние животные, а вы будто глухонемые... Вы живете с ними, а они—загадка для вас. Словно... словно иностранные языки. Я требую, требую знания строения лошади.

Веников подолгу и придирчиво спрашивал ребят, гонял по всему учебнику и останавливался на лошади. Наконец, негодуя, Веников начал спрашивать:

— Сколько у лошади зубов?

Класс шептался, замирал, переглядывался, но никто не знал. Провалились один за другим. Мальчики стояли в коридоре и водили пальцами по стенам, девочки часто сморкались и закрывали глаза руками. Тогда учком кинулся к швейцару Осипу, но тот только задумался и смахнул с вешалки до того не замечаемую пыль.

— А не к чему мне, ребята. В деревне у меня две своих лошади были. Сила лошажья нужна мужику, а зубы на что же? Были бы целые, это надо, а сколько их там, то в хозяйстве не причем. Пахать аль боронить и дрова и хлеб возить не на зубах, а на хребте. Нет, невдомек. Не щитал я.

Ребята кинулись гуртом на извозчичью биржу. Извозчики рассердились насмешке. Один взвил кнут, повернул на ребят лошадь—и погнал к школе. Швыряясь пылью и мелкой щебенкой, ребята вбежали к Осипу.

Торопясь и дрожа, они упрашивали швейцара сходить к извозчикам. Тот гнал их. \ сверху спускались все новые и новые незнайки. И тогда Осип не устоял. Ребята быстро собрали по три копейки и сунули ему в руку звонкую грудку меди. Осип вывернулся за двери, а они остались сторожить вешалку.

— Да што вы, рехнулись там?—заорали извозчики на Осипа.—Мелея проклятая. Сперва маленькие дразнят, теперь большие? Тебе-то мы, ливря, и в морду дадим! Проваливай!

Осип долго об'яснял... Под смех и визготню извозчичьей биржи, наконец, один извозчик слез с облучка. Вместе с Осипом они подошли к лошадиной морде и стали поднимать губу.

— Братцы!—крикнул извозчик—а ведь вот загвоздка: извозчики, а этого струмента у коней тоже не знаем! Хи-хи!

С облучков по ли другие извозчики и начали считать зубы.

Осип узнал и бросился в школу. Швейцар бежал, а извозчик, подумав, тревожно кричал ему вслед:

— Эй ты, человече, швейцар! Я, может, обчелся? Какого зуба и нет! В поле ходит. Может, вышибли? Али от старости сами выпали? Не судачь! Я не ответчик!

Ребята гуртом помчались в класс. Скоро ответил первый, и Веников помягчел.

Записка с лошадиными зубами обходила столы.

С осени Веников стал получать по почте карикатуры. Получил он раз рисуночек: стоял Веников на широком ватмановском листе. Ноги у него были с копытами. Над копытами висели брюки клешем. Тело его было обвешано вениками. Полголовы было человечьей, а челюсть лошадиная.

Веников принес рисунок на заседание школьного Совета. Жаловался. Товарищи отвертывались. А Марья Ивановна, француженка (не мог давно говорить с ней Веников, не запинаясь и не краснея) расхохоталась и просила рисунок на память.

Веников долго стоял в тот осенний вечер на мосту. Все поблекло, стускло вокруг. У пристаней мокли в рыжих огнях безмолвные пароходы.

Иван Евдокимов

ВИДЫ НА ПОГОДУ

МКХ устанавливает в Москве спиртовые термометы.

Рис. Б. Антоновского

— А термометр-то спиртовый. Вот бы его разбить и выпить спирт.

— Ну, что это за спирт! Всего 7 градусов. Пиво и то крепче!

ДНЕПРОГИПНОЗ

Рис Ю. Ганфа

Днепропетровский народный следователь Захаров при допросе обвиняемого пригласил гипнотизера.
Из газет.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:—Что-же это ты, Рабиндраната, наделал? Ты ему внушил 1-ый пункт 142-ой статьи, а он обвиняется по 113-ой, да к тому-же еще по 2-му пункту!!

МЕТРОПУП

ПРО режим экономии всякое говорят!— и хорошее, и дурное... Не мое дело в этом разбираться!

А вот что режим этот самый дает возможность рядовому трудящемуся показать все свои способности — это я уже доподлинно знаю...

За примером далеко ходить нечего... Помните Васюкина? Чем он был до режима? Ничем! Форменным то-есть ничтожеством. Даже вида человеческого не имел: — от горшка два вершка, а то может и меньше. Работы большой делать не мог—слабосильный! По причине Васюкинской плюгавости ни одна девица его к себе на пол-шага не подпускала... Даже на военную его не взяли! Раздели его врачи, измерилии говорят: — Какой-же из тебя защитник революции может быть, ежели у тебя от пупа до земли ровно один метр. Так и сказали—один метр, — и никаких!

И погиб бы человек, если бы не режим экономии.

Служил Васюкин в госмануфактурном госмагазине. Служба, сами понимаете, не тяжелая, но все же изредка попадались и такие денечки, когда товар в магазине был. В такие дни приходилось и с покупателем заниматься и всякую бязь или там сарпинку метром отмеривать. И тут Васюкину не везло—потому, как человек. лишенный женского общества, он никакой приятности в разговоре не имел, и обольстить покупателя мало был способен.

Вылетел бы Васюкин!..

Но на счастье его, когда пришел режим экономии, заведующий магазином решил сначала произвести сокращение накладных расходов, а потом уже приняться за сокращение штатов.

А надо вам сказать, что заведующий был мужчина решительный, с размахом и не бюрократ:—уж ежели ему сказали — сокращай расходы, то он дела не пожалеет, а расходы сократит!

Все лишнее—к чорту! Витрину—долой! Дешевые товары—долой. Потому мало прибыли приносят! Рабочего покупателя—долой, потому по мелочам забирает! Прейс-куранты—долой, потому все равно в магазине нет того, что по прейс-куранту полагается...

И между прочим, когда в магазине сломался последний метр, заведующий заявил приказчикам, что новых покупать не будет, потому что квалифицированный приказчик должен уметь глазом определить метр.

— Профессор математики,—говорил заведующий, — не ходит с таблицей умножения в кармане. И приказчик может обойтись без метра...

Сказал—и отменил метр!

Вот тут-то и началось непонятное.

Все приказчики на-глаз меряют, а в магазине скандалов не оберешься:—то покупатель караул кричит, что ему двух метров не домерили, то заведующий на дыбы становится, что три метра передали.

И только у одного Васюкина все в порядке.

Чуть покупатель закажет ему сколько отрезать, он выбегает на секунду из магазина и сейчас же возвращается с отрезом—сантиметр в сантиметр!

Конечно, это не осталось не замеченным. От заведующего Васюкину благодарность и повышение в разряде, а приказчики просто лопаются от зависти и все хотят дознаться—каким это образом Васюкин с метром справляется.

И однажды выследили они Васюкина. Смотрят, забежал он с отрезом в приказчичью, раз-раз,—извините за выражение, брючки спустил и от пупа до земли семь с половиной раз отмерил.

Тут-то приказчики и вспомнили о том, что на врачебном осмотре врачи сказали Васюкину:—От земли до пупа — метр!

И с той поры Васюкин занял первое место в магазине. Сам он уже с покупателями не занимался, а только сидел в приказчичьей без невыразимых и мерил:

— Метр-р...

— Пол-метр-р...

— Чет ть метр-р...

К концу года заключил он индивидуальный договор по спец-ставке: триста сорок рубликов в месяц.

Мало того — одна частная портниха, имевшая собственные „робес ет модес", узнав о метрических способностях Васюкина, сделала ему предложение.

Женился Васюкин! Детей наплодил!..

Двадцатипятилетний юбилей свой торжественно отпраздновал — героя труда получил. А когда, волей судьбы, пришлось сделать ему последнее путешествие в крематорий, над урной его начертаны были такие слова:

— „Спи спокойно, Васюкин, непоколебимый борец за метрическую систему! Да будет метр тебе пупом!.."

. . . .

Вы скажете, дорогие читатели, что все это ерунда...

А вот если вы поинтересуетесь заметкой из „Правды" за 5-е февраля о том, как проводилась „метропуповая" система на Ленинградском заводе „Светлана", то вы увидите, что все это не ерунда...

Невероятно, но... факт!..

Я. Галицкий

БУМАЖНЫЙ МЕШОК

ШЕЛ Иван Прокофьич со службы домой. Шел Иван Прокофьич и увидел бабку с яблоками.

— Дай,—думает Иван Прокофьич,—куплю яблок.

Купил Иван Прокофьич яблоки. Положила бабка яблоки в бумажный мешок, деньги куда-то под куцавейку засунула, а мешок Ивану Прокофьичу отдала.

— Бабка!—ахнул Иван Прокофьич.—Да ведь это же апокалипсис!

— Чего?—удивилась бабка.

— Апокалипсис!.. Понимаешь ты, дурная, что ты мне в руки суешь?..

— Ранет, ей-богу, ранет! обиделась бабка.—Кого хошь спроси,—ранет. Я, милый человек, без обману...

Иван Прокофьич поправил очки, заглянул внутрь мешка и прочитал с расстановкой:

— „. . . И глас слышах гудец гудущих в гусли своя...“ Дожили, бабка; яблоки-ранет в святое евангелие заворачиваем!.. Ну, ну!..

Покачал головой Иван Прокофьич, плюнул и пошел своей дорогой.

А бабка вытерла нос обшлагом куцавейки, переложила корявыми пальцами яблоки и проворчала:

— Ишь, ты!.. Покалипсис какой-то придумал!.. А еще в калошах!.. Грехи!..

Иван же Прокофьич повернул за угол, вошел в ворота и поднялся к себе на пятый этаж.

— Дядя Ваня!—сказал Митька, племянник Ивана Прокофьича,—дядя Ваня, дай мне мешок: я хлопушку сделаю.

— Нельзя, Митька!—строго сказал Иван Прокофьич.—Нельзя—из святого евангелия хлопушки делать!.. Грешно!

Вывалил Иван Прокофьич яблоки на стол и начал рассматривать мешок.

Был мешок склеен из двух листов: внутри—откровение святого Иоанна, а снаружи—что-то напечатанное на пишущей машинке.

И когда прочитал Иван Прокофьич это „что-то“, захолонуло ему сердце, бросилась кровь к ногам, и затрепетали ноги мелкой дрожью.

Напечатано ж было вот что:

— „По департаменту общих дел статский советник Иван Прокофьев 3-й производится в действительные статские советники“.

Иван Прокофьич медленно опустился на стул и с шумом выпустил вздох из легких.

— Значит, так... Значит, я—генерал... То-есть, был генерал... А я не знал... Господи!.

Иван Прокофьич взял в руки мешок, осторожно разодрал его по шву и стал напряженно разбирать смытые клеем буквы.

— Так и есть!.. Февраль 1917 года!.. Не успели опубликовать, значит... Ну, и слава богу, что не успели... Генералам-то нынче не очень...

А вдруг?..

Сердце Ивана Прокофьича упало в бездонную пропасть, и по лысине пробежал холодок.

— А вдруг это *уже* обнаружилось?.. Как попала к торговке эта бумага?.. Ведь, разбирал же кто-нибудь архивы!. Господи! Девять лет я писался в анкетах статским советником!.. Обман, укрывательство бывшего звания!.. Доверие властей... ГПУ!.. Ах!

На другой день, сидя на службе, Иван Прокофьич боялся поднять глаза Сердце его тревожно билось, руки дрожали, и отвечал Иван Прокофьич сослуживцам невпопад.

И, домой идя, с ужасом глядел Иван Прокофьич на встречных, а когда, проходя мимо книжного магазина, увидел случайно в витрине книгу „Записки *генерала* Деникина“, то почувствовал себя совсем нехорошо.

Придя же домой, открыл Иван Прокофьич стол, вынул из него бумажный мешок и снова, в десятый раз, стал перечитывать страшные строки.

И вдруг весь мир озарился розовым светом, сердце начало биться ровно, и потеплела лысина.

— Господи! Не 3-й же, а 5-й!!! Как же я не разобрал сразу... Ну, конечно, „Прокофьев 5-й!.. Митька!..—крикнул Иван Прокофьич,—бери мешок!..

— Он же разорватый!—сказал обиженно Митька и отошел, сопя носом.

Иван же Прокофьич, придя на службу, сказал секретарю месткома:

— Вы удержите, пожалуйста, с меня полтинник в пользу горняков! Слава богу, мы с вами товарищ, не какие-нибудь генералы бывшие. Хребтом-с свой хлеб зарабатываем!

И выразительно постучал кулаком по собственному загривку.

Р. Волженин

ТОЖЕ „ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ“

Один управляющий работами по рационализации додумался до последнего открытия в области административной техники. Он приладил электрический провод к сиденью своего служебного кресла и вывел его за двери кабинета, закончив красной лампочкой.

Когда заведующий сидит в кресле, провод, соединяющий его зад с приемной, сигнализирует огнем красной лампочки. Де, заведующий на месте, на посту. Работает, рационализирует и бдит

(„Правда“)

Рис К. Елисеева

К. Е. 1927.

ПОСЕТИТЕЛИ: — Хоть и две лампочки горят, а зав все-же не на месте!..

ХОДОК

Рис. Ив. Малютина

— Ты, Ванюша, говорят, в ход пошел.
— Да. Второй месяц уже хожу из учреждения в учреждение, а все нет толку.

ГАЛЛЕРЕЯ ЖИВЫХ ПРЕДКОВ

Рис. Б. Антоновского

1.

В Великолуцкой богадельне живет престарелая гр-ка Павлова. Она имеет 110 лет от роду. Находится в полном сознании. Говорит голосом пятидесятилетней женщины. Рассказывает о крепостной зависимости, в которой она находилась 31 год, о декабристах, о Пушкине и пр.

(„Наш Край“ В.-Волочок).

2.

В Ново-Борисове (Белоруссия), записана 130-летняя старуха Марнияна Маляревич, пред'явившая документ о рождении в 1796 году. Маляревич—бодрая старуха, накануне переписи пришла пешком из деревни за 20 верст.

(„Прикамская Деревня“).

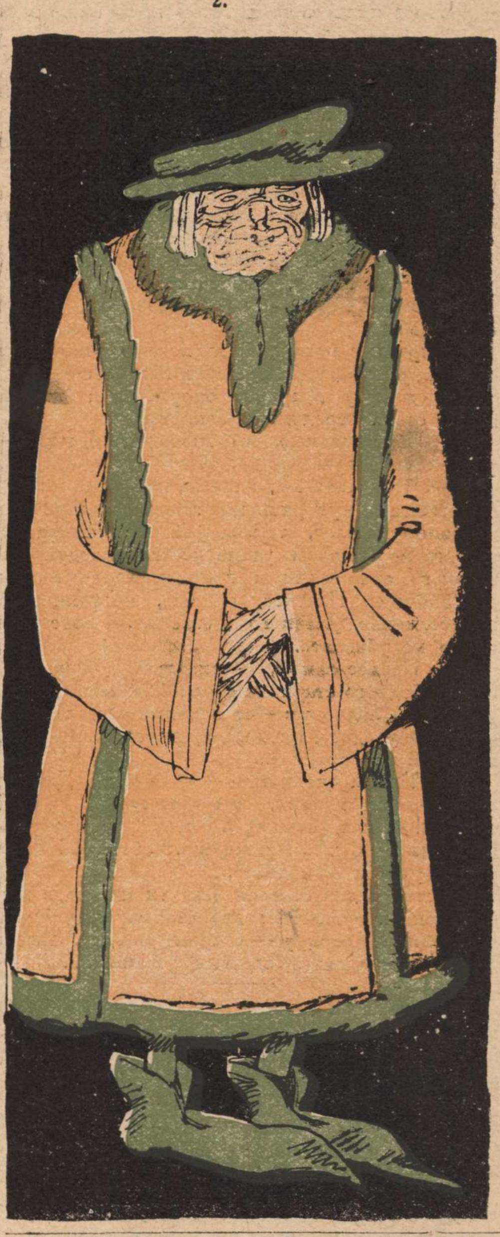
3.

В Абхазии в селении Латы записан крестьянин-абхазец Шапковский, 145 лет. Шапковский здоров, обладает хорошей памятью, имеет шестую жену восьмидесяти восьми лет.

(„Прикамская Деревня“)

4.

Не пугайтесь! Найдена еще одна старушенция. Ей 203 года. А, может-быть, и все 250. Недавно она записалась в Загсе с секретарем комсомольской ячейки. Помнит Ермака Тимофеевича. Чувствует себя прекрасно. *(„Смехач“, № 10).*



5.

Специально командированный „Смехачом“ сотрудник откопал еще более заядлого старичка. Ему 480 лет. В беседе, которая велась на языке альбигойцев, старикан заявил, что он присутствовал при разбитии Колумбом знаменитого яйца*).

***) Примечание редакции** (к портрету № 5): По сведению редакции, старик присовокупил, что Иоанн Гуттенберг, с которым он, старик, будучи еще цветущим 80-летним юношей, находился в чисто приятельских отношениях, говорил ему, что и в то легковерное время, когда граждане поверили даже в открытие Америки, даже и тогда не было ни одного редактора (хотя бы и такого бульварного листка, как „Веселый Сарацин“,—официоз Готфрида Бульонского), который позволил бы себе напечатать такую чушь, как это сделали „Наш Край“ и „Прикамская Деревня“.

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН

Старый Дыркин был очень жилист и очень глуп, что, однако, не мешало ему служить младшим делопроизводителем в учреждении.

Глаза у старого Дыркина были рыбьи—мышиного цвета с голубизной. Уши от старости поросли мохом и двигались даже тогда, когда хозяин не выражал ни малейшего желания ими двигать. Нос был зловредный, с зеленоватым отливом. А лицо в общем и целом болезненно напоминало помятое и порыжевшее складное портмонэ образца 1903 года.

Утром Дыркин встал пораньше и отправился в жилтоварищество.

— Что же это, господа товарищи! Этак и жить на свете больше не приходится, наложили на меня шесть гривен за сажень полезной площади. Я человек трудящий и никому не позволю. Раз ставка по разряду, ты, господин хороший, и бери по разряду, а то что же это получается!..

— Не волнуйтесь, гражданин Дыркин, — сказал секретарь, — мы сейчас все выясним. Так и есть. С вас полагается сорок копеек. Ошибка.

— Тоже... ошибка... Засели молокососы взрослых людей обирать— да еще путают. Небось, старый хозяин не спутал бы...

Дыркин раздраженно плюнул и пошел на службу.

— Тоже учреждение! — ворчал Дыркин, записывая входящие номера, — собакам на смех... Не то что при прежнем начальнике. Орел был!.. А теперь...

Дыркин пописал с полчасика и понюхал воздух.

— Опять накурено?—проскрипел он.—И вентилятор не работает. На что смотрит охрана труда?

Дыркин с негодованием бросил ручку и пошел в местком.

— Что же это, господа товарищи, почему такое, чтобы вентилятор не действовал во время исполнения обязанностей... Это даже довольно странно. Охрана труда, ау?!

— Простите, товарищ Дыркин, забыли починить. Сейчас исправим.

Через полчаса вентилятор приветливо зашумел.

— Тоже... Защитники выискались,— ворчал Дыркин,— вентилятора и того с толком поставить не могут...

Ровно в 4 часа Дыркин запер входящий журнал в шкаф и пошел в амбулаторию лечить зубы.

„Эх“—думал Дыркин,—„все это не то. Вот при старом режиме...“

...— Вы, извините, не имеете ни малейшего права задерживать в очереди трудящего человека!—визжал Дыркин в амбулатории.

— Не волнуйтесь, гражданин, — увещавала Дыркина сестра,—через час врач вас примет...

— Тоже... через час... И куда это только страхкасса смотрит, — горестно вздохнул Дыркин, — вот при старом режиме... Эх, да что говорить...

Дыркин с кошачьей ловкостью вскочил на подножку отходящего трамвая. Раздался свисток. Через минуту Дыркин, окруженный толпою зевак, стоял перед милиционером.

— Православные, — злобно кричал Дыркин, — убивают! Караул!..

— Что ж это вы, папаша, несоответственно выражаетесь,—укоризненно говорил милиционер, искренно сожалея, что милицейские правила ставят его в слишком узкие рамки „предупредительного отношения к гражданам“ — это, вы, папаша, зря. Платите, папаша, полтинник за неисполнение уличного движения, а вовсе вас никто не убивает...

— Православные, — захныкал Дыркин, — грабят бедного старичка среди бела дня! Спаси...

— Да ладно уж,—со вздохом сказал милиционер, — уходите, вредный старичок, исполняйте в другой раз правила...

— Тоже... сполняйте, — прошептал Дыркин побелевшими губами,—вот при старом режиме то... Ах! И квартальный же был!... Не квартальный,—ангел был!... Ах, царица небесная... Вспомнишь—слеза прошибет!..

Остаток дня старый Дыркин провел в воспоминаниях о близком его старому недоброкачественному сердцу — старом режиме. Заснул Дыркин, обливаясь слезами умиления...

Здесь автор должен заметить, что юбилейный фельетон (а настоящий фельетон—юбилейный) писать очень и очень трудно. Все сюжетные приемы уже использованы. Автор должен сознаться, что сперва он хотел посадить старого Дыркина на уэльсовскую „машину времени“ и отвезти глупого старика в „старый режим“, но потом вспомнил, что об этом уже писал некий современный фельетонист в один из предыдущих юбилеев. Автор долго мучился. Ему не хотелось так нагло обкрадывать собрата по перу. А посему автор решил воспользоваться очень простым приемом, который преемственно выкрадывается работниками печати друг у друга еще со времен древних греков.

Утром Дыркин встал пораньше и отправился в жилтоварищество.

— Что же это, господа товарищи, — начал Дыркин привычную речь и осекся.

На месте председателя сидел бывший хозяин, генерал Доппель-Кюммель, и курил сигару.

— Батюшки! Отец родной!—воскликнул Дыркин.—Неужто старый режим наступил? Ах ты, господи!.. С праздничком вас, ваше высокопревосходительство.

— Молчать! — рявкнул генерал,—вот я тебя, сукина сына!.. За десять лет с тебя за квартиру, стервь болотная, причитается. Восемь тысяч, как одна копейка. Я т-тебя, рассукина рассына...

— Ребеночка крестили у меня, Маркела,—рискнул Дыркин,—крестные отцы-с...

— А вот я тебя к крестной матери сейчас!..

В учреждении действительный статский советник Бородавка, который в течение десяти лет революции с честью выполнял обязанности швейцара, увидев Дыркина, сообщил:

— Дыркин, Модест Ипатьевич, увольняется за выслугой лет. Уходи, старик, не люблю... Не благодари... Швейцар! Выведи его.

В амбулатории врач, поковыряв в зубах у Дыркина крючком, сказал:

— Можно пломбировать. Можно рвать. Приходите завтра... Мы еще гм, гм, посмотрим... Может, и нельзя будет рвать... А, может-быть, и можно...

— Так точно-с,—прошептал Дыркин,—премного благодарен. Прощевайте, господин доктор.

— А кто же мне заплатит деньги?—прищурился доктор.

— Я же по страхка...

Оставив весь наличный капитал в амбулатории, Дыркин, шатаясь от незаслуженных обид, побрел по улице.

— Э-е-е-э-п-п-п!!!

И Дыркин, опрокинутый лихачом, уже лежал на мостовой.

Когда Дыркин поднялся, потирая ушибленное плечо, перед ним стоял квартальный и зловеще улыбался.

— Отец родной! Ангел!..—заплакал Дыркин.

— Осади!! — гаркнул городовой,— почему скопление? Ты что здесь делаешь?

— Я-то? Батюшки! Ангел!.. Отец родной...—зашамкал Дыркин.

— Вот я тебя за общественное нарушение в часть сведу!—недружелюбно сказал городовой и ударил Дыркина тяжелым кулаком по морде.

Ночевал Дыркин в участке...

Дальше, как и следовало ожидать, когда Дыркин проснулся, он с удовольствием заметил, что лежит в своей постели...

Звонили юбилейные колокола.

Евг. Петров

В МЕБЛИРАШКАХ

Рис. Ю. Г.

КЕРЕНСКИЙ: — Уже 10 лет прошло, как свергли самодержавие. Надо скорее писать мемуары, иначе никто и не узнает, что я правил в России

ЦАРСКИЕ ДВУГРИВЕННЫЕ

Многие бедствуют, очень бедствуют. Генерал-лейтенант Чистяков целых два года был сторожем на местном складе на окраине Варшавы.

В таких сумеречных красках живописует „Новое Время“ в одном из своих последних номеров жизнь бывших царских слуг, ныне обретающихся в Польше.

Был человеком, стал генералом. Был царским генералом, стал сторожем на окраине Варшавы.

Лег спать живым, а проснулся... покойником.

Воистину, неисповедимы пути господни! — жалуется черносотенная газетка.

Правда, есть небольшое утешение:

— „За последнее время, слава богу, положение генерала резко изменилось к лучшему“.

Слава богу! Рублевку прибавили к жалованию и по воскресеньям позволили уходить к куме.

Хуже обстоит с генералом от кавалерии Вельяшевым.

Вы конечно, не помните Вельяшева. Очень жаль. А ведь какой интересный мужчина! Бывало... Собственно говоря, я сам не помню такого. Но послушайте, что говорит о нем „Новое Время“:

— „Это едва ли не самый старый из всех ахтырских гусар. Кто в русской коннице не знал Вельяшева, этого красавца, ломавшего двугривенные?“

Какие заслуги имел человек перед отечеством — ломал двугривенные! Ведь не будь этой самой революции, он бы до полтинника добрался. А что теперь осталось ему в жизни? Одни гроши.

— „После „великой, бескровной“ судьба забросила семидесятилетнего старика в тот самый Луцк, где он некогда командовал бригадой... Кое-как существует генерал мизерной службой у одного из местных нотариусов. Тяжело, особенно тяжело, именно потому, что все кругом так ярко напоминает о прежнем блеске“...

Очень тяжело. Положение хуже губернаторского, хуже генеральского.

Но мы совершили бы преступление перед социалистическим отечеством и перед советской общественностью, не упомянув об уланах „его (и ее) величества“. Такие, по словам „Нового Времени“, тоже имеются в Польше:

— „Из улан его величества пустили корни в Варшаве — Петров, дающий концерты, и улан ее величества Дараган, служащий в банке. Полковник Субботкин служит кучером в манеже“...

Вот, что значит глубоко пустить корни! И такие корни пущены по всей Европе.

— Смотрите в корень! — поучает нас Козьма Прутков.

Глядя на эти „корни“, становится тяжело... Да, тяжело читать обо всем этом... без улыбки.

Ломали люди двугривенные... А теперь? Сами имеют хождение наравне с бывшей царской монетой.

Г. Рыклин

ЗАМОГИЛЬНЫЕ ГОЛОСА

Мечты

„Подумать только: если бы не эта проклятая революция, — Босфор и Дарданеллы — все это было бы наше.

А все-таки я верю, что Константинополь будет нашим, русским. Должен быть!“

Б.-Брешковский („Потерянные бриллианты“).

Голос иностранцев

„Вход русским запрещен“.

Об'явление на дверях сербского министерства иностр. дел („2 года интервенции“.)

Лирика

„Ради Бога, куда ходит теперь Сергей Белосельский? Где проводит вечера Владимир Орлов? Где устраивает свои партии в покер князь Борис Васильчиков?“.

Графиня Клейнмихель („Мемуары“).

Эмигранты о себе

„Эмиграция это — сплошной кабак“.

Иван Наживин („Дневник“).

Информация

„В Москве изобрели новый вид смертной казни: сажают человека в мешок, наполненный вшами, и держат его там, пока вши заедят его до смерти.

Д. С. Мережковский („Из дневника“).

„Суп из человеческих пальцев давно уже не удивляет никого в обычном меню Советской России“.

И. А. Бунин („Общее дело“).

НА ОСНОВЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ГИПНОЗА...

I

Серый человечек с глазами бегающими и вороватыми, — стоял перед зав. уездным Наробразом и говорил:

— Напрасно изволите сомневаться. Имею миндали от шаха Персидского, эмира Бухарского, а также от начальника Грозненской милиции и зав. ветеринарной частью Килебердянского уезда.

— Это нас некасаемо! — сказал, — довольно благодушно, — зав. художественным сектором. — Нам главное, чтоб разумное развлечение для трудящихся масс.

— Господи же! — вздохнул человечек. — Я же есть факир индейской белой и черной магии. Чего же еще разумнее! Господи Иисусе. Вот извольте убедиться. Вся программа представления, как на ладошке.

Человечек подал лист бумаги, где каракулями значилось:

Моя программа факирских номерей

1) Кушат огон, 2) гвозд в нос, 3) танец на битом стекле, 4) лягание на битом стекле, 5) французский мост, 6) адская кувалня, 7) разбивка кирпича на голове, 8) смертельная кровать, 9) разбивка камня на груди, 10) китайская качель, 11) французская качель, 12) отрубка головы и прочих важных конечности, 13) моментальное высиживание курчат, 14) пантемимо и 15) Андреи и Апофеоз.

Наступило тихое молчание.

— Безграмотно, но разрешить, конечно, можно! — сказал кто-то тихо.

Факир заговорил быстро, быстро.

— Господи же!.. Почему же не разрешить? Разумное развлечение для крестьянских и батрацких масс. Масса благодарностей. От персидского шаха Мохамед Наср-Эдинна и от мариупольских речных судоходных классов...

Факир сделал реверанс и поклонился, точно на сцене:

— Прошу разрешения по гражданскому положению свода уголовного судопроизводства. Я и иголку жру... Паклю также, на основе психологического гипноза трансцедентального подхода.

— Разрешить мы можем при одном условии. Можешь производить фокусы в уездном масштабе. Только с пояснением и предварительной лекцией. С пояснением, понял? — Иначе на опиум похоже!

II

Перед началом сеанса факир сильно волновался. Потом... обдернул свой рыжеватый фрак, подтянул вниз бумажную манишку, откашлялся и начал:

— Граждане, по предписанию политпросвета народного образа должён я перед вами открыть тайну... Одна ловкость рук, больше ничего. Никакого химического продукта... Берется, извините за выражение, живой кролик... и гипнотизуется до потери сознательности. Опять же яичница в шапке... этот номер можно делать только в цилиндре. Яйца любят цилиндру. А как цилиндрических головных уборов у почтенных зрителей нет, — выходит, этого номера делать я не буду.

— Обман! Мошенство! — раздается крик.

Факир ухватился рукой за стул с таким нетерпением, как-будто он хочет производить один из 15 номеров своей программы: „балансировку разными приборами“, и продолжал:

— Наша боевая задача бить зрителя по центральной нервной системе чудесами природы и силами англо-португальских иогов на почве тибетской медицины. Опять же должен сказать, что одной ловкости рук тут мало. Ловкость рук могит быть и у карманного воришки, который платки крадет... Тут психопатизм и гипнотизм индукции с конифаксом.

Факир говорил увлекаясь, захлебываясь, волнуясь.

Начальство слушало и покачивало головами.

— Здорово об'ясняет! Ничего не понятно, — должно, действительно, факир. Вот бы его на антирелигиозную пропаганду пустить!..

Борис Эф

ЮБИЛЯРЫ

Рис. Ю. Г.

— Кому сосисок и котлет?
Салоп. Шинель без эполет.
Сидят рядком
Над кипятком.
Графиня зла, а граф сердит.
А примус на столе шумит...
— Ах, десять лет!
— Ах, десять лет!
Бал в зимнем... Царское... Балет...
Давнопрошедшие года.
Шумит, бурлит сковорода.
Сидят рядком
Над кипятком
Салоп. Шинель без эполет.
. . . .
— Кому сосисок и котлет?

А. М.

Издатель—«ГУДОК». Отв. редактор—И. Н. Пирогов.

Главлит 82534. Москва. 5-я типо-литография «Мосполиграф», Мыльников, 14. Тел. 4-88-39. Зак. 1085. Тираж 100000 экз.

Рис. М. Черемных

„ДОСТИГ Я ВЫСШЕЙ ВЛАСТИ"...

КИРИЛЛ: — Тяжел путь самодержца. Вот уже десять лет, как волнения при моем дворе не прекращаются...